

ВСЕ ОТТЕНКИ *СТРАСТИ*

У нас есть МЫ

*Талантливо!
Неожиданно! Интересно!
Всегда — поражает!*

Роман Виктюк



18+

Ирина
ГОРЮНОВА

Ирина Горюнова

У нас есть мы

«ЭКСМО»

2013

Горюнова И. С.

У нас есть мы / И. С. Горюнова — «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-699-61437-0

Природа любви загадочна и непредсказуема: иногда человек оказывается перед сложным выбором – следовать ли нормам большинства или пойти наперекор им, прислушавшись к своему сердцу? Создать традиционную семью или же «выйти из шкафа», признав перед людьми и богом собственную нетрадиционность? Роман Ирины Горюновой три года назад стал одним из самых обсуждаемых произведений русской прозы. Он вызывал шок, его громили и превозносили, никто не остался равнодушным!

ISBN 978-5-699-61437-0

© Горюнова И. С., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

Часть 1	5
У нас есть мы...	5
Вандал	8
Лиса, невидимый град Китеж и дева Феврония	11
Кораблик города Парижа	15
Экстерьер – русский голубой	18
Садомазохизм, немного культуры и мышинные танцы	23
Кастор и Поллукс	27
ВИП – ВИЧ	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Ирина Горюнова

У нас есть мы

Часть 1

У нас есть мы...

У нас есть мы...

*Кто мы – незнакомцы из разных миров,
Или, может, мы – случайные жертвы стихийных
порывов,
Знаешь, как это сложно – нажать на курок,
Этот мир так хорош за секунду до взрыва...*

«Русская рулетка», группа «Флер»

Ты заглядываешь в мои глаза и спрашиваешь, что такое ЛЮБОВЬ. Я не знаю, что тебе ответить, и никогда не скажу, что ты мне дорог и я люблю: где-то там, в глубине моего сердца, теплится что-то маленькое и светлое... Может быть, это и есть Она. После встречи с тобой, Ким, все изменилось. Я уже несколько лет учусь жить заново, и у меня это получается гораздо лучше, чем раньше. Правда. Я так устал быть никому не нужным, быть сам по себе. Ты не поверишь, после того как получил клеймо «ВИЧ-инфицирован», я прошел долгий путь к жизни, к новой и полноценной жизни, и даже благодарен тому парню, который меня заразил. Представляешь, я узнал, что он сделал это со мной нарочно, только сейчас, месяца два назад, когда он вдруг, после нескольких лет молчания, позвонил, чтобы понять, чей это номер в его мобильнике – похожих имен много. Я сразу узнал его по голосу и спросил, как он.

- Да вот, валяюсь в Конотопе в больничке, хандрю...
- А что с тобой?
- Простуда. Туберкулез. Гепатит... СПИД...
- ...СПИД давно?
- ...Давно...
- ...И когда мы встречались?..
- ...Да...
- ...Понятно...

* * *

О чем можно было еще говорить? Что спросить? Сказать?..

* * *

И все равно – есть благодарность за инфекцию, ведь если бы не она, я так до сих пор и сидел бы на игле, как ты сейчас, Ким. Я смотрю на тебя и понимаю, что ты не слезешь, тебе удобно и комфортно в этом мире, и иногда я злюсь на тебя за то, что не могу уйти обратно в

мир, где всемогущ и практически – бог. Создавать новые миры, быть властелином вселенной, превращая камень в цветок, мягкую игрушку в ревущего медведя, реку в айсберг; раскладывать симфонию на ноты и из каждой сотворить бабочку... как я тебя понимаю... Именно поэтому, Ким, я не скажу тебе ни слова о любви... я завидую...

* * *

Иногда я пишу тебе стихи, которые не показываю, чтобы ты не слишком зазнавался. Это вообще моя тайна. От многих. Так проще. Дневник моей души, открытый только для меня одного.

Пью сок, гляжу в окно, гадаю.
Час ночи. Ты, наверно, спишь.
Я бабочкой ночью замираю —
Перед глазами ты один стоишь.

Компьютер. Чай и сигарета.
А за окном ночная чехарда
Огней, тревожащих поэта,
Унылых дней слепая череда.

Проснуться. Делать вид, что всё
Прекрасно. Это ли не мука?
Открыть посередине том Басё.
Его захлопнуть с очень громким звуком.

Упасть в нирвану. Ожидать конца:
Кому депрессии, кому унылой жизни.
Писать стихи от первого лица
И про себя скорее что-то вызнать.

Идти вперед. По Гаусса кривой,
Не замечая кривизны излома,
И посмеяться дерзко над собой,
Пока сознание не охватит кома.

Сейчас, возвращаясь с работы домой под проливным ноябрьским дождем и вдыхая терпкий запах отдающей тленом палой листвы, я думаю о тебе, знаю, что встретишь у метро, а потом дома, в нашей небольшой, но светлой квартирке, выходящей окнами на ржавые крыши соседних обшарпанных пятиэтажек, мы приготовим еду, и будет так хорошо и приятно делать что-то вместе, зная, что У НАС ЕСТЬ МЫ. Ты зажжешь тонкие белые свечи и принесешь в комнату фигурно вырезанные канапе, любовно разложенные на китайском фарфоровом блюде, и приготовленный тобой плов, в котором янтарно светится медовыми окружениями курага, глянцево прячется ароматный чернослив, темными вкраплениями приглашающе мелькают зира и барбарис. Ты аккуратно и неторопливо заваришь в фарфоровом чайнике «Те Гуань Инь», медленно разольешь чай в изящные пиалы, а потом, обжигаясь, подашь мне. Я буду цедить маленькими глотками божественную жидкость и вдыхать ее аромат, а еще – смотреть, как ты гладишь меня по руке своими тонкими аристократичными пальцами с овальными голубоватыми лунками ногтей, как смотришь в мои глаза, подслеповато улыбаясь без очков... Ты без

них так беззащитен и бесхитростен, будто снял наконец запрещающую разглядеть душу завесу, и серовато-зеленая радужка заискрилась золотыми искорками, шаловливо проявившимися из глубины. Окна нашей гостиной, открывающиеся в наглухо-черную зашторенную ночь, имеют и обратную сторону: если смотреть с улицы, виден свет. Это главное: научиться смотреть так, чтобы всегда видеть свет, Ким. Я хочу смеяться и подкалывать тебя, вызывать раздражение, показать, что ты не хозяин надо мной, пусть мы и вместе. Я вижу в тебе себя, иногда более слабого, чем я, иногда более сильного и более состоявшегося, и в этом есть гармония НАС двоих: дополняя друг друга, мы искореняем свои недостатки, избавляемся от комплексов и каждый день обновляемся, изменяя какие-то клетки в нашем странном, почти родственном симбиозе.

Вандал

НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО – психическая болезнь, при которой моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения.

При нравственном помешательстве человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретического, формального между ними различения. Неизлечимо.

Энциклопедический словарь

Ф. Павленкова. С.-Пб., 1905

...Я начал интересоваться мальчиками лет с шести-семи. Девочки меня так не притягивали – была мама, сестра – они женщины, это просто данность, константа, и больше ничего. Помню, как мы с соседом по подъезду, пока родители были на работе (а мы сидели с гриппом дома и отлынивали от школы), исследовали наши тела, и так удивительно ощущалось, что он такой же, подобный мне, но не я, и болезненно-сладострастная дрожь узнавания до сих пор отзывается во мне трепетом на кончиках пальцев. Его крошечный членик на ощупь показался живым, имеющим свою особую, непонятную мне тогда волю существом, к которому испытываешь странное почтение от его прощупывающейся внутренней структуры и внешней бархатистости нежной кожи. А когда он прикасался ко мне, там зарождалось восхитительное тепло, льющееся в низ живота и постепенно затапливающее всего тебя полностью ожиданием некоего небесного откровения, вот-вот появляющегося и такого прекрасного... Но мы как-то внутренне подавляли в себе новые попытки исследований, нам казалось, что это постыдно и неправильно, и нас накажут за это. Я помню, как мать больно отшлепала меня по рукам, когда увидела, как я трогаю свой член. «Не тереби пипку, отвалится», – приговаривала она, перекатывая во рту слова «те-ре-би-пип-ку-от-ва-ли-ца», словно горсть леденцов между щекой и зубами, и грозила наказаниями. Противоречие между болью и наслаждением надолго загнало меня в тупик.

* * *

Наверное, я ребенок из благополучной семьи. У меня были мать, отец, старшая сестра и бабушка. Но что такое благополучность? Мои родители находились вместе, но всего лишь находились, а не БЫЛИ, не жили как полноценная семья. Они постоянно ссорились, выясняли отношения даже при нас, детях, старшая сестра мучилась еще и тем, что отец любит меня больше, и поскольку он ей приемный, и еще потому, что я – мальчик. Отцы всегда больше любят мальчиков – это внутреннее убеждение многих поколений, что для продолжения рода надо иметь сына, наследника. Мы с сестрой сосуществовали в едином пространстве как кошка с собакой: я разбирал ее кукол, выдавливал им пальцами глаза, выдирали ноги, выковыривал заложенные в спину механизмы их кукольного плача отнюдь не для того, чтобы позлить ее, – просто мне было интересно посмотреть, как там все устроено. Я точно так же разбирал папины часы или будильник, пытался добраться до фена, радиоприемника, телевизора, но бабушка вовремя меня отлавливала и спасала семейное добро от «вандала». «Вандал» – ее любимое ругательство по отношению ко мне, хотя она иногда называла меня и ласковыми именами: солнышко, воробушек, Дюнечка, родненький, в отличие от остальных. Мама в основном звала Андрей (как сестра и отец), а когда была не в духе, то – сволочь, троглодит, зараза и паскуда. Друзья в школе и во дворе окликали Дрон.

Жили мы в двухкомнатной квартирке, как тогда говорили – малогабаритке. Одну комнату занимали мама с папой, другую – мы с сестрой. Ей это очень не нравилось, потому что

я постоянно мешал. Мешал делать уроки, болтать по телефону, красить ногти, читать книгу, приводить в гости подруг... даже когда я просто лежал лицом к стене, накрывшись с головой одеялом, – я все равно мешал. И это ее злило. Стоило мне взять ее фломастеры, клей или бумагу, тут же начинался скандал. Мои поделки, которые я мастерил для бабушки или мамы, тут же выбрасывались, иногда я думал, что она нарочно караулит момент, когда я закончу, чтобы отнести их в мусорную корзину. Один раз, обидевшись на то, что она выкинула любовно приготовленные мной открытки к Восьмому марта, в том числе и ей, я изрезал маникюрными ножницами ее любимое платье. С тех пор дороги назад, к миру, не стало вовсе. Сестра кричала, что уйдет от нас на улицу, если родители не отправят меня жить к бабушке, в ее большую однокомнатную квартиру на Серпуховке. Но папа с мамой на это не пошли, хотя я, в общем-то, был не против. Светка, конечно, никуда не ушла, но наша партизанская война переросла в активные боевые действия на каждом квадратном метре, вернее, даже сантиметре жилплощади.

Бабушка меня любила, это я знал точно. Покупала мне сладкие изумрудные или ярко-малиновые леденцовые петушки на палочке, пузатые машинки, смешных оловянных солдатиков со стертыми лицами, водила в зоопарк и в кино, вывозила за город на лесные прогулки. Несколько лет подряд мы отправлялись с ней «дикарями» на море, в Евпаторию. Сестру мою она не выносила, объясняя это своей закадычной подруге Степановне так: «Не могу понять, в чью Светка порода, скорее всего, в папашу родного. Такой склочный характер, что мама не горюй. Надо же природе было смешать гены так, чтобы породилось такое чудовище. И что из нее вырастет? Я бы Андрюшу к себе забрала, но как же он без родителей-то будет? Не сирота все же. Может, одумаются? Сидят и мозг друг другу проедают, нервы треплют по ниточке, из клубочка вытягивают, вытягивают, а что потом от клубочка останется, не думают. Ладно, свою голову к их тулову не приставишь, как живут, так живут. Я, Степановна, сызмальства сама выплывала. После детдома ухитрилась в институт поступить, выучиться, а потом Ваня мой, светлая ему память, замуж взял, на работу хорошую пристроил – поваром в ресторан. И жили мы не бедно, потому что работы не чурались, пахали с утра до ночи. Потом Любочку поднимали. Все самое лучшее – ей. А она нашла себе на голову сначала одного ханурика, потом другого – не лучше первого. Сколько ни уговаривала ее: присмотрись сначала, потом маяться будешь, ни в какую – попала вожжа под хвост, и всё тут. Ну, я рукой и махнула. Ее жизнь, в конце концов. Купили мы им эту квартирку, однокомнатную. Там и Светка родилась. А муж-то взял и свалил, девочке и полгода не было. Потом Любочка себе другого нашла. На первый взгляд ничего вроде, толковый. Решила второго рожать. Я ей говорю: «Обожди, доченька, рано еще! Вдруг опять не сладится», а она мне: «Мама, замолчи, не каркай. Я лучше знаю. Вася меня любит, ему свой ребенок нужен». А он как раз работу потерял, пить начал. Мы с отцом за голову схватились, но деваться некуда, Любке уже рожать со дня на день. Думали, может, и поправится все. Обменялись квартирами. Куда в однокомнатную второго ребенка рожать? Что ж я, родную дочь гнобить буду? Мужик-то ее ни на что не способен, болтается как говно в проруби, не тонет пока еще, хоть и притоплено. На работу устроился, но пить так и не бросил. И Светка упрямая, как и мать, только злая еще, и корысть в глазах плещется. Я, когда прихожу к ним, долго там не могу находиться – тошно, ненависть кругом. Одна работа спасает. Там я знаю, что нужна, и радость есть. Деньги тут уже во вторую очередь, хотя и это нужно, сама понимаешь, в какое время живем. Да что говорить!..»

* * *

Помню, что сестрина подчеркнуто дисциплинированная аккуратность выводила меня из себя и заставляла делать все наоборот. Демонстративно грязная и порванная одежда, помарки в тетрадах, расхлябанный портфель с вечно оторванной ручкой, которым играли в футбол, – все это лишь моя поза, противостояние неизбежному злу, которое представляла сестра. Светка

отвечала мне такой же неприязню и постоянно закладывала даже по мелочам. Когда ее заставляли забирать меня из школы, я нарочно прятался, где только мог: то в школьной раздевалке под грудой зимней одежды, то в подсобке физрука, где свален в кучу разный спортивный инвентарь от дерматиновых облезлых матрасов до размочаленных на нити некогда белых канатов, то в кабинете химии, куда пробирался тайком и залезал под массивную деревянную кафедру, иногда успевая поинтересоваться многочисленными скляночками и колбочками, хранившими в себе непонятные магические тайны и законы вселенной, заключенные в разноцветные жидкости и порошки.

Тем не менее школу я не любил: постоянно отвлекался от монотонных и нудных уроков, разглядывая в окно, как шевелятся ветви деревьев и падают листья, как чистит перышки взъерошенный промокший воробей, скатываются одна в другую капли дождя на оконном стекле, устремляясь вниз, как бьется о плафон большая жирная муха с просвечивающими сквозь зелень брюшка белыми внутренностями... Мальчишки из класса не интересовали меня – они все были шальные, глупые, задиристые, и я чувствовал себя среди них белой вороной, затесавшейся в их стаю по странному стечению обстоятельств. Впрочем, девочки были не лучше: смешные ужимки и перешептывания, постоянные записочки и подмигивания, непонятные подхихикивания, а чуть что – визги и слезы... Я дружил с моей соседкой по парте Настенькой, единственным симпатичным мне человеком в классе. Она резко отличалась от остальных девочек не столько природной красотой, сколько удивительной мягкой гармоничностью характера. В школе считали, что мы поженимся, когда вырастем, и дразнили женихом и невестой. Но этого не случилось.

Иногда мы вместе с ней уходили в парк, наблюдали за целующимися парочками, кормили лебедей в пруду, качались на качелях и разговаривали. Ее семья, в отличие от моей, была вполне благополучной: мама – преподаватель сольфеджио в Гнесинском училище, отец – учитель немецкого языка в каком-то пединституте, дедушка бывший военный, а бабушка – вязальщица-кружевница. После войны дедушка забрал свою невесту из какого-то села в Рязанской области и, женившись, приехал вместе с ней, по долгу службы, в Москву. Так они и прижились. Война многих заставила переменить место жительства. Настенька, такая хрупкая и чистая, совершенно не желала воспринимать окружающий мир таким, какой он есть на самом деле. Я замечал утоптаный серый снег в окурках сигарет и потеках мочи, и бомжей, спящих на картонных подстилках между стеклянными дверями метро, и стаи голодных тощих собак, вожаком посматривающих на шагающее человеческое мясо. Она видела пушистое искрящееся снежное покрывало, укутывающее землю, красивых и добрых улыбающихся прохожих в нарядных шубках, симпатичных породистых котят и щенят, продающихся на выставке... Мы с ней не совпадали... Когда я пытался раскрыть ей на происходящее глаза, она сжимала губки, быстро и упрямо покачивала головой и твердила: «Нет-нет-нет!», а потом плакала... Я перестал мучить Настеньку, мне было ее жалко. «Пусть лучше кто-нибудь другой вырвет ее из идеального мирка, из уютной скорлупки, в которой сидит этот маленький желтый цыпленок, но это будет другой...» – решил я и постепенно перестал ходить с ней в парк... К тому же в моем сердце зрела обида на судьбу, которая подарила Настеньке ласку, любовь и счастливое детство, а мне – Светку и все остальное...

Лиса, невидимый град Китеж и дева Феврония

...приехал к озеру, именем Светлояру.

И увидел место то, необычайно прекрасное и многолюдное.

И по умулению его жителей повелел благоверный князь Георгий Всеволодович строить на берегу озера того Светлояра город, именем Большой Китеж, ибо место то было необычайно прекрасно, а на другом берегу озера того была дубовая роща...

Китежский летописец.

Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже, XIII век

Вообще в тот период мир был для меня соткан из противоречий, часто для меня неприемлемых. Помню, в одно из затиший между скандалами мы поехали с родителями и папиными друзьями на турбазу в охотничье хозяйство, отдохнуть. Прямо перед нашим носом, во время прогулки, проселочную дорогу перебежала настоящая лисица, перебежала, махнула рыжим хвостом и скрылась в густой траве. До этого лис я видел только в зоопарке. А тут – вот она... как из сказки, но из плоти и крови. Потом, на обратной дороге, в окне машины промелькнуло валяющееся на обочине изломанное, окровавленное тельце собачонки, очевидно сбитой автомобилем. Несоответствие, чудовищное противоречие между дикой природой и городом, так называемой цивилизацией, больно воткнулось в сердце тупой иглой, вызывая зудящие внутри вопросы, на которые мне никто не мог ответить. Эта собака... может быть, ее ждал и любил какой-нибудь мальчик или девочка, которые будут рыдать навзрыд, найдя наконец свою погибшую любимицу... Просто кто-то гнал машину по трассе, лихачил, и ему было абсолютно безразлично, что там, на дороге, стало одним живым существом меньше.

Я тогда впервые столкнулся со смертью один на один и понял, как это страшно – противостоять миру. Ежедневно слыша от сестры: «Чтоб ты сдох, проклятый!», – я стал задумываться о смерти. Получить ответ на вопрос «А что там? За той гранью?» – не выходило. Ад, рай, чистилище, пустота, ничто, перерождение в новую жизнь и другое тело, – непонятно. И страшно. Я боялся засыпать, но не мог показать никому свой страх, объявить о нем, не мог допустить, чтобы его увидела сестра. Когда мне становилось плохо и я обливался потом от ужаса, то тихонько вставал с постели и прокрадывался в ванную, чтобы восстановить сбившееся от спазмов дыхание, прийти в себя. Обливался холодной водой. Светка ябедничала, что по ночам я занимаюсь онанизмом. Я возмущенно отнекивался. Бабушке иногда рассказывал, как мне тошно, что сестра со свету сживает. Она пыталась с матерью разговаривать, та – со Светкой. В итоге только хуже получалось. Ненавидящим взглядом Светка прожигала меня насквозь, шипела сквозь зубы «Иуда!», цеплялась взглядом за какую-нибудь мою вещь: книгу, плакат на стене, игрушку и скрюченными, словно судорогой, пальцами медленно рвала ее на мельчайшие клочки. С тех пор я перестал просить подарки – все равно они оказались бы распотрошенным, изувеченным хламом на помойке. Мне пришлось стать сильным, чтобы не позволить опустить себя ниже плинтуса и хранить все мечты, желания, обиды глубоко внутри. Так надежнее.

* * *

Ребенок отличается от взрослого, кроме прочего, тем, что пытается понять, как и зачем создан этот самый мир, понять его законы, уловить какую-то причинно-следственную связь между событиями, структурировать его по нитям, кирпичикам, атомам; взрослый же вопросов не задает, он принимает существующее положение вещей и просто тупо живет как умеет. Вне-

запно решив меня «образовывать культурно», бабушка взяла билеты в Большой театр, на оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и о деве Февронии». Более неразумного, чудовищного фарса я в своей жизни не видел никогда. Дева Феврония, которая по сюжету, заявленному в программке, должна быть молоденькой девушкой, оказалась необъятной пятидесятилетней теткой шестидесятого размера, ее щедро залитые лаком волосы напоминали воронье гнездо (причем ворона была явно ненормальная), а бугристое, заплывшее жиром лицо практически скрывало маленькие и наверняка злые глазки-буравчики, утопленные под самые брови, четко прорисованные слишком старательным гримером. «Дева» томно и тяжело скакала по сцене, представляя себя молоденькой козочкой, отчего пол под ней, казалось, прогибался, а тела колыхались, как скользкое желе, норовя вывалить из объемистого корсажа ее вымя. Появившийся принц, также весьма потрепанный жизнью, интенсивно пучил глаза в сторону Февронии, пытаясь показать свою влюбленность в сию даму, но на физиономии его явно читалось плохо скрываемое отвращение. Порхающая по сцене «дева» первое время старательно делала вид, что не замечает прекрасного принца, а собирает себе цветочки и наслаждается пением птиц, а потом, вдруг, увидев его, страшно испугалась и попыталась упасть в обморок прямо на руки вождьленному самцу. Но тот, не будь дурак, отскочил с перепугу, не желая быть похороненным под вязко колышущейся глыбой, и «деве» пришлось сделать вид, что все так и было задумано. Они были отвратительны. Оба. Светлый град Китеж въяве стал чудовищным мороком.

Самое странное во всем этом священнодействии, на мой взгляд, было то, как воспринимала оперу публика. Глаза романтизирующего плебса были устремлены на сцену в глубокой задумчивости и притворном восхищении, некоторые дамы даже прижимали руки к груди в волнительности и восторге, теребя пальчиками промокшие носовые платки, мужчины же, подпирая голову локтем, всем своим видом показывали, что наслаждаются музыкой, хотя на самом деле откровенно дремали. После окончания сего мероприятия, когда народ бешено рукоплескал смущенно раскрасневшейся приме, бабушка с волнением спросила:

- Внучек, тебе понравилась опера?
- Бабуля, ну какая это опера? Это же отвратительный фарс!
- Тише, тише! Что ты говоришь! Ты просто еще не дорос!
- Угу. Конечно. А то я не вижу.
- Ладно, дома поговорим.
- Дома так дома.

* * *

Но, естественно, дома мы разговаривать не стали, все как-то само собой сошло на нет, но я сделал для себя несколько выводов:

- высокое искусство – полная чушь и галиматья, не имеющая ничего общего ни с жизнью, ни с «прекрасным». Это просто жвачка для мозга, пытающегося мнить себя высокоинтеллектуальным;
- искать причинно-следственную связь между событиями и найти мировую гармонию, чтобы существовать комфортно, – нет смысла, поскольку ее нет;
- бабушка тоже относится (как это ни жаль) к романтизирующему плебсу;
- я не люблю желе;
- наркотики лучше.

* * *

Знаешь, Ким, на одном из психотерапевтических сеансов я вспомнил, что сломал руку, когда мне было девять месяцев отроду. Сквозь белесовато-серый туман забвения в мою память просачивались мамины слезы, истерически открытые рты, из которых не вырывается ни звука, кулак отца, летящий в фанерную дверь кухни и пробивающий ее насквозь... И потом... пустота. Я знал, что надо что-то сделать, остановить надвигающееся безумие, и захотел привлечь внимание. Отодвинув защелку на высоком детском стульчике, в котором сидел, попытался слезть, начал сползать, но упал и сломал ключицу. Без разделения на боль, обиду, испуг я пытался вспомнить суть произошедшего, но в голове явственно виделась только эта картинка и за ней – ничего... Теперь мне кажется, что все наши проблемы мы всегда пытались решить через болезни и боль – только так можно было добиться внимания, ласки, сострадания, какой-то иллюзии понимания тебя как личности. Когда ты болеешь, мама ласковая, она рядом, что-то покупает тебе, приносит, кладет руку на лоб и гладит по волосам, читает сказки. Или бабушка, или папа... Родители никогда не поощряли меня одобрением моих поступков, я всегда слышал только фразу: «решай сам» или «делай, как считаешь нужным». Набор слов во фразе менялся, но суть оставалась та же – меня никому не было нужно. Никогда. Приносил я двойки или пятерки, сидел дома с книгами или пропадал на улице – меня словно не существовало. Помню фразу из детства – «дурилка картонная», которой меня обзывали. Это опять приводит к мысли, что ты НИКТО и НИЧТО, дурацкая картонная марионетка. Но стоит тебе сделать что-то не так, как принято в обществе, нарушить пятую-десятую заповедь/мораль/принципы поведения, как тут же многоголосый хор учи-телейзавучейбабушекдедушексестеркондукторов начинает читать тебе нотации и сокрушаться, что в их-то времена такого аморального поведения не было, потому как, дескать, войнабыларазруха и чего только не пережили, а мы тут жируем на всем готовом троглодитысволочипанки.

* * *

Мама тогда находилась в состоянии перманентного развода с отцом, постоянно взвинченная, нервная, обиженная на весь мир. Несмотря на то что она любила его и очень переживала, постоянно скандалила – отец много пил, но она так привыкла к роли жертвы, что уже не могла с ней расстаться. «Я отдала тебе жизнь, подарила молодость, ты вытянул из меня все жилы...» – звучало рефреном в ее тирадах к отцу. «Ты не дала мне сделать карьеру, вила из меня веревки, ревновала к каждому столбу...» – слышалось в ответ. Увидеть, что с сыном что-то не то, значило перестроить себя, свое отношение, взять себя в руки и заняться воспитанием, делать какие-то шаги... Но они не могли... их занимали они сами. Я смотрел на них со стороны, и мне становилось неудобно за то, что вместо любви они будили во мне жалость, отстраненное презрение и легкие приступы сартровской тошноты.

* * *

В тринадцать лет я попал в больницу с кишечной инфекцией и там первый раз занялся сексом с мальчиком чуть старше меня. Это потрясение, меняющее твой мир. Взрыв чувств, красок, эмоций, наслаждение тела, восторженная влюбленность – все слилось воедино. Помню, сначала я играл роль жертвы, этакого недотроги и говорил: «Нет. Пожалуйста, не надо», долго ломался и плакал. Сегодня я понимаю, что это с моей стороны была только игра, я долго шел именно к этому опыту. Я понимал, что у него уже были подобные отношения, и, поскольку мы

оказались в больничном боксе вдвоем, он весьма решительно и целенаправленно стал действовать, соблазняя меня: сначала разговоры, потом поглаживания, потом... секс. После выписки мы больше не виделись. Почему-то так было правильно...

Кораблик города Парижа

Fluctuat nec mergitur – Плавает, но не тонет (лат.).

И я ушел «на улицу», стал употреблять наркотики, любые: курил, кололся, нюхал... Я искал путь, говорил себе: «Я не такой, я иной, может статься, просто природная аномалия, но мне нужен выход». И он нашелся. Родители так ничего и не заметили до восемнадцати лет, пока я в дикой истерике сам не признался матери, что я гей и наркоман. Она, конечно, поплакала. И все. Все осталось как было. Но я забегаю вперед. В четырнадцать лет бабушка повезла меня в Париж. Она поехала туда по работе и предложила родителям забрать меня, интуитивно понимая, что со мной что-то не так, но что именно, даже не догадывалась.

* * *

Париж – город-мечта для многих туристов, стремящихся туда попасть во что бы то ни стало, не впечатлил меня своими красотами и романтикой, меня тогда не это волновало, а наркотики и секс. Эйфелева башня, собор Парижской Богоматери, Триумфальная арка, базилика Сакре-Кёр и бла-бла-бла... Разумеется, я везде побывал, и Париж – туристический ли, модный, претенциозно-буржуазный, исторический, мелкопоместный, Париж рабочего класса или легендарно-богемный – не остался для меня тайной, он стал мне своим. Бабушка с детства учила меня французскому языку (шеф-повар в ресторане, где она работала, был француз), и я разговаривал на французском практически свободно, поэтому не испытывал смущения и неловкости, а достаточно быстро влился в ту среду и состояние, когда ощущаешь себя если не гражданином мира, то потомственным парижанином уж точно. Это город импрессионистов, поэтому и воспринимаешь его словно в некоей дымке, флере ожидания, расплавленности и неги, особенно когда идешь от Монмартра до Латинского квартала в компании друзей и принятый тобой кокаин обостряет восприятие и заставляет вибрировать каждый атом твоего тела, расширяя зрачки и делая зрение чуть ли не фасетчатым, как у стрекозы, и миллион картинок дробится в сознании, то сливаясь воедино, то вновь множась и делясь на составные части. Гораздо позже я узнал, что Максимилиан Волошин назвал Париж «серой розой» и удивился точности определения и восприятия поэта. Он действительно серый, пепельный, несмотря на свою пышность, присущую розе: дома его построены из местного сероватого камня, который в зависимости от освещения слегка окрашивается в желтоватые или розоватые тона.

Мы любили тусоваться на Пляц Пигаль, рядом со знаменитым кабаре «Мулен Руж» – излюбленным местом парижских путан, сутенеров, геев, трансвеститов, клошаров и продавцов наркотиков. Мои друзья Морис, Жан и Маттье обожали это шумное, крикливое и суматошное место. Часто мы приходили сюда просто наблюдать за разными колоритными персонажами, строили о них различные предположения, придумывали истории, хохотали до колик в животе от своего незатейливого баловства, а потом, зверски голодные от вечерних прогулок и кокаина, покупали крепы – французские блины с разнообразными начинками, и уплетали их за обе щеки. С Маттье у нас случился недолгий роман, после которого мы просто остались друзьями и продолжали общаться как ни в чем не бывало. Великолепный самец-полукровка – латиноамериканец, он был недалекого ума, впрочем, меня больше волновали другие его достоинства... Они были впечатляющими, но пользоваться ими он совершенно не умел и вел себя в постели как слон в посудной лавке, к тому же громко сопел, пот во время соития лил с него градом, а кончая, он резко и со вкусом выпускал из заднего прохода совершенно возмутительный запах, и это было для меня хуже всего. И мы расстались так же легко, как и сошлись.

В моей памяти французский отрезок жизни не оставил каких-то очень уж сильных впечатлений, радостных или плохих, скорее это достаточно монотонное и обыденное существование, которое принимаешь как данность, отдавая себе отчет – оно есть. И всё. Меня восхищал герб Парижа – кораблик, сражающийся с волнами, – и его девиз: «*Fluctuat nec mergitur*», что в переводе с латыни означает «Плавает, но не тонет». «Гы, – скажешь ты мне, – я знаю, что у нас в России плавает, но не тонет». Я тоже знаю: Я. Это про меня. Я все время выплываю, даже когда кажется, что пробоина в кораблике смертельная, я доплываю до спасительного берега, латаю прохудившиеся борта и днище и опять, подняв паруса, отправляюсь на поиски приключений. В самом начале пребывания в Париже я удивленно спросил бабушку, почему на гербе нарисован кораблик, ведь город стоит не на море. Она пояснила, что Париж лежит на пересечении двух древних торговых путей. Один сухопутный – с севера на юг, а другой водный, по Сене, с востока на запад, к Атлантике. Переправой же через Сену в старину заправляла гильдия лодочников, «торговцев водой», и их доходы были важной статьёй благосостояния города: чтобы переправиться на другой берег, надо было заплатить. Я тоже плачу свою цену, переправляясь от одной искомой точки к другой, иногда цена слишком высока, но, очевидно, какая-то «гильдия» лодочников-норнов назначает ее именно для меня, исходя из только им ведомых расчетов. Бабушка великолепно знала историю Франции, и иногда мы совершали с ней прогулки по окрестностям Парижа, съездили даже в Лион, Ниццу и Канны, когда ей пришлось побывать там по работе. Она особо не притесняла меня, считая, что я уже взрослый и могу существовать сам. Я тщательно скрывал от нее свои «недостатки».

* * *

В пятнадцать я вернулся обратно, в Москву, и оканчивал школу уже здесь, тогда как бабушка осталась во Франции, неожиданно для всех выйдя замуж за потомственного лионского винодела. В Париже я сильно скучал, к тому же там было явно меньше возможностей для моих «пороков». Здесь я знал, куда идти и что делать, здесь я был дома, к тому же моя душевная травма и незалеченные обиды также тянули обратно. Хотелось посмотреть страху в лицо или скрыться от него на самом видном месте, в персональном семейном серпентарии.

Мама к тому времени все-таки развелась с отцом, который быстренько нашел ей замену в лице парикмахерши из захудалого салона на соседней улице. Я так ни разу и не сходил к нему в гости: видел эту тетку издали, и она мне напомнила сильно ухудшенный вариант «девы Февронии», а соваться в чужой хлев желания не возникало. Мама была мне по-своему благодарна, не понимая мотивов моего поведения, а я не пытался ничего ей объяснить. Отец пару раз заявлялся пьяный к нам домой и пытался качать права, рыдая и размазывая слезы и слюни по щекам и подбородку, что он, дескать, родитель и хочет участвовать в воспитании (о, благие намерения души человеческой! какая поэзия!), но потом остыл, особенно когда понял, что надо отстегивать «свои кровные» на алименты. Конечно, лучше потратить все на выпивку. Его новая жена – Марфушка, Пелагея или Аграфена, хрен ее знает, один раз также позвонила и попыталась втирать про неземную отцовскую любовь, называя меня «сыночек». Я был под кайфом и не помню точно, что ей наплел, но больше названивать она не рискнула, а дисциплинированно «отвяла», как и было предложено.

Сестра училась на факультете иностранных языков в МГУ и свела общение с нами до минимума, изредка появляясь поесть, переночевать, переодеться... Она тщательно готовилась переменить жизнь и не собиралась отступаться от цели – выйти замуж за обеспеченного иностранца и уехать из страны, чтобы там оформить наконец глянцевою мечту в реальную праздничную упаковку европейского качества и масштаба. Аудио– и видеолента моей памяти, шипя и поскрипывая, иногда прокручивает эти кадры перед сном, особенно после очередных ссор с матерью, и я понимаю, что мне не за что быть благодарным ни матери, ни отцу, ни сестре.

«Человеки в футлярах» безнадежности и обреченности, потасканные, нелепые, жалкие, не способные изменить свою жизнь в лучшую сторону даже разводом или отъездом за границу, как они не видят всего этого! Подходя каждое утро к зеркалу для чистки зубов или нанесения макияжа, они всё так же не способны заглянуть чуть глубже в душу, взять себя в руки, стать достойнее, сильнее, мудрее... Их пронзительные арии о непонятности, недолюбленности, жалкой иронии незаслуженных судеб сливаются в похрюкивающий хор грязных хавроний, в единую дьявольскую, сатанинскую какофонию, и хочется просто бежать куда глаза глядят от этого жалкого и чванливого уродства своеобразного оперного театра.

* * *

Во мне не было тогда любви – только животная страсть, желание отдаваться высоким небритым широкоплечим, тяжелооснащенным снизу брюнетам, которых я выбирал по тому, насколько их достоинства выпирали из штанов или насколько они могли оказаться чем-то полезны. Ощущение необходимости подпитки мужским эго, мужественной составляющей, которой мне не хватало, жгло огнем. Признать же в себе женскую часть, энергию Инь, не было сил. Как правило, они быстро бросали меня (ночь, неделя, две, три...), понимая предельную эгоистичность и одно желание брать, не давая ничего взамен. Я нуждался в опоре, поддержке, одобрении, чувствовал себя настолько неуверенным, что нарочно провоцировал расставание эпатажным и хамским поведением. А потом шел дальше. «Плешка», «Три обезьяны», «Шанс», «Центральная станция»... Там тусовался разный контингент: и крутяки, и попроще... Я чувствовал себя комфортно, но одиноко: комфортно, потому что находился среди своих, таких же, как я, и не надо ничего придумывать, играть, скрывать, а одиноко – потому что, молодой, сексуальный, красивый, дерзкий, я получал много предложений, но все было одноразовое, удержать отношения не получалось. Думаю, что я бессознательно программировал себя на неудачи и расставания, пережив крах отношений матери и отца и видя коммерческие устремления сестры в отношении брака.

Экстерьер – русский голубой

*Мы накажем друг друга высшей мерой отчаяния,
Для того чтобы с памяти этот вечер изъять,
Здесь одна только пуля...
Не огорчайся, – я кручу барабан, эта пуля – моя...*

«Русская рулетка», группа «Флер»

Неожиданным подарком судьбы на определенный срок мне стал Стефан. Мы познакомились на одной из вечеринок у общих знакомых, на подмосковной дачке. Я долго думал, ехать или нет, но решил, что там можно будет сладко оттянуться, и согласился. Долго бродил по дому, разглядывая комнаты, людей, непонятно откуда набившихся в таком несусветном количестве, гулял по двору, общался с симпатичным деревенским псом, который, казалось, хорошо меня понимал, запрокинув голову, рассматривал капли дождя, падавшие на мое лицо... Где-то хохотали, где-то занимались любовью, курили, делили кокс, пили... Мне было странно...

Я зашел в библиотеку и долго мучил массивную медицинскую энциклопедию, подыскивая в ней нужные откровения, но буквы прыгали по строчкам и перескакивали с места на место, вырывая отдельные слова жирным шрифтом: сифилис, саркома, сальмонеллез, слепота, сепсис, синусит, свищ, свинка, СПИД... Или – мастопатия, метастазы, малярия, метеоризм, менингит... Мастурбация также оказалась в списке заболеваний, что почему-то меня насмешило. «Ух ты!» – подумал я и внимательно прочитал статью:

«Мастурбация (онанизм) – суррогатная форма полового удовлетворения путем раздражения эрогенных зон (обычно генитальных), завершающегося оргазмом. Практикуется в период юношеской гиперсексуальности как компенсаторный вариант сексуального удовлетворения, обусловленный пробуждением половой сферы тогда, когда индивидуум еще не достиг социальной зрелости и самостоятельности. При психозах и невротических развитиях наблюдается персевераторно-обсессивная мастурбация (дифференцируется по отрыву от естественной мотивации вплоть до полного отсутствия либидо и оргазма, иногда практикуется открыто, в присутствии посторонних, обычно входит в структуру психопатологических синдромов – бредовых и др.)».

Ой, буквы-буквы, не снесите мне крышу, она и так едет! Хихикнув, я закрыл энциклопедию и погрозил ей пальцем: шалунья! После чего вышел из библиотеки. «Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне...» – вертелось у меня в голове, а ноги и руки сами подскакивали в такт – я куда-то шел. Шел долго, по бесконечному средневековому коридору, и на стенах стали всплывать портреты странных людей, одетых в старинные одежды. Р-рраз! – сморщенный старичок в пожелтевшем, когда-то белом паричке с бородкой клинышком, длинный и неопрятный, как обглоданная куриная кость. Он сурово глядел на меня и держал в птичьих лапках табличку с надписью: «Маразм». Следом за ним (хопс!) появился образ дамы бальзаковского возраста в пышном декольтированном платье, тройной подбородок которой утопал в щеках, а презрительно отвисшие губы с сеточкой морщин вокруг и черным пушком над верхней губой, казалось, что-то шептали мне. Прислушавшись, я уловил слово «Ожирение». Тр-рри! Выпялилась из тяжелой золоченой рамы бабулька с острым крючковатым носом – настоящий прототип Бабы-яги, – злобная, издерганная, с красными кроличьими глазами, готовая тут же вцепиться тебе в горло, ощерившая в улыбке крысиные зубы – «Шизофрения». Бл-лумс! – неожиданно возникла молоденькая девушка с печально устремленным вдаль взглядом, невероятно худая, со впалыми щеками и огромными синими глазами. Весь вид ее наводил на мысль, что ей чудом удалось спастись из концлагеря, а всплывшая под образом

табличка огласила диагноз: «Булимия». Портреты начали мелькать перед глазами с космической скоростью, и я не успевал проследить, что они мне вещали. Я попытался идти быстрее, чтобы прорваться сквозь эту армаду ужасов, но осознал, что вязну вне времени и пространства и не могу, не могу, не могу выбраться... Волосы встали дыбом, руки тщетно пытались нащупать выход, пока наконец...

Влюбился я сразу, как только увидел его в открывшуюся внезапно из коридора дверь, будто резко дали свет в темное помещение. Я зашел, вытирая выступивший на лбу пот и пытаюсь отдышаться от пережитого кошмара, и долго кружил рядом, не решаясь подойти, хотя мне это и несвойственно. Потом все же присел рядом, мы разговорились и поняли, что хотим побыть наедине, хотя особо и негде. Выйдя во двор, жадно хватали ртом воздух, напоенный запахом лесных трав, а может быть, просто кислородом и послегрозовою свежестью. Ближе к ночи мы стащили пару одеял и забрались на чердак, где были свалены старые ненужные вещи, исторический хлам – всякие там чугунные утюги, фетровые шляпы, военные штаны-галифе, а еще китайская ваза со сколотой горловиной и прочие любовно оставленные про запас хозяевами дачи предметы. Сквозь мутное и запыленное окошко медитативно и болезненно светила щербатая луна, высвечивая отдельные кучи барахла, словно бутафорские декорации, и вся эта нереальная обстановка только возбуждала воображение...

* * *

Мы стали встречаться, а потом и жить вместе, в квартире, которую для него снимала фирма. Он был невероятно красив. С ним можно было говорить обо всем, мы читали одни и те же книги, смотрели фильмы, куролесили, упивались своими чувствами. Старше меня на три года, Стефан приехал сюда работать из Будапешта менеджером. Его компания открыла представительство в России, и он недолго думая согласился на предложение временно переехать в Москву. Прапрабабушка и прапрадедушка его были выходцами из России, успевшими вовремя эмигрировать незадолго до Октябрьской социалистической, поэтому Стефан великолепно владел русским языком – в их семье свято соблюдались традиции и царило двуязычие. Впрочем, языком он владел виртуозно во всех смыслах. Он не раз рисовал мне золотой перьевой ручкой «паркер» на школьных расчерченных в клеточку листках свое раскидистое генеалогическое древо, насчитывающее несколько столетий, которое знал любовно и досконально. «Энтомологические» изыскания и его «голубокровость» (в аристократичном смысле, разумеется) весомо подтверждали разного рода старинные документы, которые, по словам Стефана, бережно хранились в инкрустированном полудрагоценными камнями ларце его матушки, чуть ли не княгини. В экстерьере рода как постоянная и непреложная константа присутствовали: нос горбинкой, оттопыренное левое ухо, чувственные изнеженные губы, подобающие скорее актрисам американского кино или немецкой порнухи, крепко сбитые, идеальной формы ягодицы и еще несколько несущественных мелочей типа родинок в интимных местах, элегантного строения ушной раковины и особенностей линий жизни на ладонях. Стефан очень обижался, когда я, отмахиваясь от него как от надоедливой комары, стремился прекратить лекции по его родословной. Меня интересовала его потенция в совершенно другом смысле, и никакого почтения перед «высородным князем» я не испытывал, только тихо удивлялся про себя, как он своей вымороченной породистостью ухитрялся весьма ловко делать карьеру, и подозревал в нем способности к исконному русскому прохиндейству, жополизательству и ментальной небрезгливости. Но мне это совершенно не мешало, особенно первое время.

Я любил смотреть на него обнаженного, когда он царственно выходил из душа и капельки воды на смуглой от природы коже переливались, как на чешуе рыбы. Обнимая его, утыкаясь носом в подключичную ямку, я с наслаждением вдыхал неповторимый пряный запах, присутствующий ему, гладил по шелковистым каштановым волосам, спине, бедрам... Мускулистый, вели-

колепно сложенный, он гордился своей фигурой и любил подолгу разглядывать себя в зеркало, висевшее в коридоре. Я насмешливо называл его Нарциссом. В ответ он усмехался, но прозвище не оспаривал. Вообще в нем было много самолюбования, его всегда волновало, как воспринимают его люди. Он оттачивал жесты, их плавность и эффектность, следил за гардеробом и тратил на одежду немалые деньги, тщательно подбирая деталь за деталью, от нижнего белья до носового платка, штудировал книги по риторике и красноречию, читал психологическую литературу, помогающую оказывать влияние на людей, а также брошюры по этике, эстетике и правилам этикета. На мизинце правой руки Стефан постоянно носил перстень с рубином и любил рассказывать, что перстень достался ему от бабушки, а ей в молодости был подарен одной весьма знатной особой.

– Ты знаешь, – важно заявлял он, – рубины издревле считались символами монаршей власти и могущества. Ярко-красный оттенок этой модификации корунда говорит о жизненной силе и энергии его владельца. Квадратная огранка наиболее хороша для этого камня, потому что придает ему загадочное сияние и таинственный блеск.

– Ну ты даешь, Стеф! Столько самолюбования я еще ни в ком не встречал! К тому же заученная из книги фраза о рубине делает тебя смешным.

– Я не смешон. Это достоинство и законная гордость. Ты не ощущаешь разницы между двумя этими понятиями, милый. Учись быть более аристократом и менее – плебеем.

* * *

В таких случаях он меня начинал дико бесить, и мы ссорились. Я считал, что это слишком непристойно – так себя возвеличивать и пафосничать, будто ты и впрямь особа королевских кровей. В сексе он тоже, как правило, был весьма эгоистичен: думал в первую очередь о том, как выглядит его поза, насколько она эффектна, и старался испускать красивые и вдохновенные стоны, реальная сторона процесса его занимала куда меньше, к тому же он не желал прислушиваться к моим намекам о том, чего бы мне хотелось. Я начинал понимать, что долго так не выдержу и мне уже надоедает его поведение. Проблема заключалась в том, что я подсадил его на наркотики и чувствовал некоторую ответственность за это, хотя и понимал, что он старше и у него своя голова на плечах. Мы то разбегались, то сходились вновь, чувствуя болезненную зависимость друг от друга, разросшуюся метастазами и не отпускающую. Но это был мой первый опыт серьезных отношений и жизни вместе с любимым, я боялся остаться один, без Стефана, ведь иначе опять завертится круговорот одноразовых связей, а мне хотелось покоя, промежуточной станции, на которой поезд стоит долго, пока прицепляют-отцепляют вагоны, грузят багаж и почту, или что там еще обычно делают на железной дороге... Может, пропускают другие скорые поезда?..

* * *

Потом он уехал к себе, в Будапешт, и позвал меня составить ему компанию. Какое-то время мы жили там достаточно мирно – Стефан взял на себя роль гида-экскурсовода и с гордостью показывал мне родной город. Мы ездили в Сентэндре, Вишеград, Эстергом, а один раз отправились даже на Балатон, где романтические виды на озеро сочетаются с величественными силуэтами горных хребтов, и все это было похоже на сказку. Но наша сказка продолжалась недолго. Через три месяца я вернулся в Москву, потому что стал ощущать, что ему все надоело: Стефан раздражался из-за пустяков. «Ты почему переключил канал, не спросив меня? – возмущался он. – Я смотрел эту передачу». – «Но ты сидел спиной к телевизору, Стеф!» – «Я смотрел! Ясно тебе!» Унижал меня: «Ты можешь постирать свои носки? Они так дико воняют!» – «Я надел их сегодня утром!» – «Сходи к врачу и попроси средство от потливости ног, или,

может быть, тебе купить дезодорант?» Иногда зависал на несколько дней у кого-то из знакомых, не ставя меня в известность и не обращая внимания на то, что я схожу с ума, не зная где он, жив ли, все ли в порядке. Потом он возвращался и делал вид, что ничего не произошло.

Так вышло и в очередной раз. Он отсутствовал двое суток, а потом как ни в чем не бывало вернулся домой. Почему-то взвинченный, нервный, но и я, увидев это, тоже не мог уже остановиться и промолчать:

– Где ты был, Стеф? Я волновался.

– Ты что, моя мамочка, чтобы устраивать мне допросы?

– Ты не мог просто позвонить и сказать, что все в порядке?

– Хочешь играть роль любезной и верной жены, которая ждет мужа у окна сутками? Тебе это не идет, поверь мне. Я-то знаю, каков ты на самом деле.

– Ну и каков же я?

– Ты наркоман и проститутка, готовая переспать с кем угодно за наркотики, а иногда просто дешевая шлюха, у которой скребется, и тогда она готова на все, чтобы ее там почесали.

– Ты считаешь, что можешь вот так оскорблять меня и я буду это терпеть?

– А что ты сделаешь?

– Хватит, я уезжаю домой. Не собираюсь выслушивать ту чушь и мерзость, которая вылезает из твоего поганого рта. Мне даже неприятно теперь, что этим самым ртом ты с удовольствием и достаточно виртуозно отсасывал у меня.

– Давай, вали отсюда, я уже и так не знаю, как от тебя избавиться. У меня давно есть любовник, гораздо искуснее тебя.

– Можешь не провожать.

* * *

У меня был обратный билет с открытой датой, так что проблем с отъездом не возникло, а свои немногочисленные вещи я быстро покидал в сумку. Стефан демонстративно закрылся в ванной – предпочел не смотреть на мои сборы и не вступать в излишние разговоры. Я тоже больше не мог на него смотреть – единственным желанием было избить его до полусмерти, сделать хоть что-то, чтобы понять, что этот человек тоже может испытывать боль, пусть хоть физическую, если не душевную. Хоть какую!

Стоя на мосту и глядя на железнодорожные шпалы, уходящие вдаль, на осенние деревья, обнажившиеся и замерзшие на пронзительном ветру, я вспоминал парижский кораблик на гербе города и думал о том, что меня ждет следующая переправа. Вместо лодочника есть поезд, вместо золотой монеты – полоска билета, по-драгивающая в руках и рвущаяся оказаться в теплых шершавых ладонях проводника. Ветер гнал куда-то золотые листья и кружил в небе черную стаю птиц, то сливающуюся в острый клин, то распадающуюся на отдельные точки, черные точки в ярко-синем холодном небе. Цветная картинка города размывалась и сменялась черно-белой, как в старых немых фильмах, когда мир становится поделенным только на два цвета, вернее на три – с градацией серого... Медленная лента моего кино продолжала с шорохом и скрипом крутить пленку, жизнь предлагала свои образцы на пробу, но все меня давило, плющило, волокло в круговороте воды, неся к тому порогу, за которым, может быть, падение с высоты гигантского водопада... «Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход...»

* * *

Я вернулся и долго ходил обиженный на весь мир: меня бросили, нет – МЕНЯ ВЫСТАВИЛИ, заменили на более действенную, обновленную, лучше оснащенную модель. И кто? Этот

хлыщ, Нарцисс, умеющий только разглядывать себя в зеркале и следить за цветом трусов и носового платка? Мать его... да что же это такое?! Я оставался на его орбите, покуда заменял для него закон земного тяготения, потом болотистую ряску его сердца растревожила новая страсть, и все закончилось. Я сам виноват – нечего было идеализировать, создавать себе из уродливого языческого идола кумира, ведь мы были из разных миров, диаметрально противоположных, и просто притянулись по физическим законам, как плюс к минусу. На время... Песок в стеклянной колбе часов пересыпался, рог изобилия опустел: пора менять картинку. «А любовь?» – спрашивал я сам себя и тут же ехидно отвечал: «После дождичка в четверг тебе любовь, когда рак на горе свистнет».

Потом я остыл и начал снова таскаться по клубам, ища себе отношения «исключительно-на-одну-ночь». Постепенно все стерлось, приобрело более спокойные оттенки, я написал ему стихотворение и просто вычеркнул из памяти, словно его никогда не существовало. Так проще, легче. Ведь все рано или поздно предают. Должен быть катарсис, очищение, обнуление, потом можно идти дальше...

Божественный зародыш безумия —
Вкус пепла на языке...
Лишь хлопья от страсти Везувия
Остались лежать на песке.

Фигуры застыли. Решиться:
Идти ли на новый виток?..
Я знаю, ты будешь мне сниться,
Когда я уйду на восток.

Когда я отрину земное
И ряской затянет следы,
Зажившие шрамы заново
У зеркала новой воды.

Садомазохизм, немного культуры и мышинные танцы

*Ты вчера невзначай потерял свою тень,
И сегодня не ты, а она гостит у меня,
Мы чуть-чуть поиграем здесь, в темноте —
Пистолет, я и тень... попытайся понять...*

«Русская рулетка», группа «Флер»

Следующим стал Ярик. Ярослав. Нам было легко вместе. Это как воздушный шарик. Любовь без обязательств. Я принимал его таким, какой он есть. Худой, мосластый, с набрякшими под глазами синими мешками и ноздревато-желтой пергаментной кожей, туго обтягивавшей бритый налысо неправильной формы череп, он обладал жесткой харизмой абсолютной свободы и восхитительного пофигизма бродячей собаки, наученной тому, что люди могут и пнуть побольнее, и неожиданно приласкать. Ночами мы яростно совокуплялись, используя тела и души для латания жизненных прорех иллюзией отношений и замещая сексом все, что можно и нельзя заместить, а потом он исчезал, и я никогда не знал: вернется он обратно или уже нет. Иногда, обкурившись или обколовшись, он кликушествовал как блаженный, длительно и протяжно жалуясь на свою нелегкую судьбу, «постыыылуууу», но наутро ничего не помнил. Он также ходил налево, скорее даже не налево, а веером, иногда успевая окучить нескольких партнеров по очереди или скопом, и зависал у своей девчонки, спал с ней. Его кобелиная донжуанская сущность или сучность постоянно требовала подтверждений его сексуальной мощи и неотразимости, а скабрезное начало гнало в поисках утех по самым отстойным сквотам и компаниям. Я не ревновал, тоже отрывался на стороне, правда, не так рьяно.

* * *

Однажды он познакомил меня с БДСМ [От англ. BDSM – психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах нетрадиционных сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Отличия БДСМ от социально агрессивных и/или преступных действий определяются прежде всего жестким соблюдением участниками БДСМ-отношений рамок SSC (аббревиатура от английских слов safe, sane, consensual) – принципов безопасности, добровольности и разумности.]. Его подружка, садистка Марго, или, по их терминологии, «верхняя», подарила нам на неделю раба – Ника, который готовил нам еду, стирал вещи, убирал квартиру, ходил в магазин за продуктами. На третий день его прислуживания она заехала в гости, проведать пленника. Он заискивающе смотрел ей в глаза.

- Желаеть порки? – усмехнулась Марго.
- Да, госпожа, пожалуйста... – униженно поклонился раб.
- Раздевайся.

Ник тут же стал разоблачаться, пока не остался совершенно голым. Его мужское достоинство возбужденно подрагивало из стороны в сторону. Марго достала из сумки диск и попросила нас врубить его на всю катушку. Там были записаны немецкие военные марши. Громкие резкие звуки, заполонив всё помещение, били по нервам так, что напряжение нарастало и нарастало. Пауза затянулась.

- Становись раком! – скомандовала госпожа и достала из сумки кожаную плеть.

Он застонал и поспешно повернулся к ней задом. Каждый раз как плетка со свистом опускалась на его обнаженные ягодицы, раб протяжно стонал.

– Ему не больно? – поинтересовался я.

– Да ты что? – удивилась Марго. – Он же от этого испытывает кайф. Хочешь попробовать?

Я нерешительно взял рукоятку кожаного девайса и размахнулся. Первые удары почти не долетали до его кожи.

– Давай посильнее, ну же! Не бойся! – подбодрила меня Марго.

* * *

Постепенно я вошел во вкус и стал бить его, усиливая и усиливая размах, с которым красные хвосты кожи попадали на тело, оставляя багровые отметины. Раб дергался, извивался, хрипло и громко дышал, а потом я увидел, как он кончил прямо на пол и упал в изнеможении на колени. Извиваясь по полу, как уж, он пополз к ногам госпожи, оставляя за собой мокрый след спермы. Ник целовал ее руки, колени, лизал языком сапоги и благодарил за оказанные милости. Потом он целовал и мои руки.

– Хочешь его? – спросила меня Марго.

Я нерешительно оглянулся на Ярика.

– Давай, – ухмыльнулся он. – Я присоединюсь, пожалуй.

– Благодарите господ за то, что они снисходят до тебя, раб, – приказала Марго. – И давай, пшел на кровать, падаль.

Раб засеменил к дивану. Мы с Яриком имели его по очереди. Марго бесстрастно наблюдала со стороны, вальяжно и неторопливо покуривая сигариллу. Ее присутствие только добавляло пикантности в ситуацию и возбуждало неимоверно. Сразу захотелось экспериментировать еще. К тому же мы не обошлись без дополнительного допинга, и мир засиял новыми красками, расцвечивая ощущения во весь спектр радуги.

* * *

Когда всё закончилось, мы тихо лежали, распластавшись на диване, а Марго, развалившись в кресле, потягивала ароматный кофе и читала нам своеобразную лекцию:

– Вы думаете, что это извращение? Но тогда многие писатели, поэты, философы в этом мире извращены, они писали о боли, а может быть, даже мечтали о ней. Вот стихи Ахматовой:

Муж хлестал меня узорчатым
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем.

А это Зинаида Гиппиус:

Красным углем тьму черчу,
Колким жалом плоть лижу,
Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу.
Шнурочком ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу,
Иглой пронижу.

Марина Цветаева:

Ты этого хотел. – Так. – Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня, целую.
В грудь оттолкнувшую – к груди тяну,
Чтоб, удивясь, прослушал – тишину.

Осип Мандельштам:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да верёвки вязать.
Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Александр Блок:

Не призывай. И без призыва
Приду во храм.
Склонюсь главою молчаливо
К твоим ногам.
И буду слушать приказанья
И робко ждать.
Ловить мгновенные свиданья
И вновь желать.
Твоих страстей повержен силой,
Под игом слаб.
Порой – слуга; порою – милый;
И вечно – раб.

Я так могу продолжать долго читать стихи... Не говоря уже о таких сочинениях, как «Венера в мехах» Захер-Мазоха, «Женщина на кресте» Анны Мар, «История О» Полин Реаж, «Образ» Жана де Берга и так далее... «Si gravis brevis, si longus levis» – то есть «Если боль мучительна, то непродолжительна, если продолжительна, то не мучительна» – так говорил Эпикур. Или вот слова Овидия: «Est quaedam flere voluptas» – «Есть некое наслаждение в слезах». Поверьте мне, люди, увлекающиеся БДСМ, не маньяки и уроды, а вполне образованные и интеллигентные, по крайней мере некоторые, и они не хотят причинить другому опасные для жизни увечья. Просто это их способ получать наслаждение. БДСМ – очень разностороннее явление. В нем масса течений, явлений и стилей. Вы можете порыться в Интернете и поискать, чем бы вам хотелось заняться, как поэкспериментировать, проявить фантазию... У каждого течения свои особенности, терминология, традиции... Не спешите, изучайте, смотрите, наслаждайтесь. Слухи и сплетни вокруг нас несправедливы и зачастую ложны, они не имеют ничего общего с действительностью. Самые основные наши принципы – это Добровольность, Безопасность, Разумность. Спросите Ника, если хотите.

– Ник, тебе нравится, то, что я с тобой делаю?

– Да, госпожа.

– Ты получаешь удовольствие?

– Да.

– Ты хочешь быть как все и больше никогда не испытывать боли?

– Нет, госпожа. Я делаю это добровольно, потому что мне это нравится.

– Я когда-нибудь делала что-то такое, о чем бы ты пожалел? Захотел уйти от меня? Я причиняла тебе увечья, серьезные травмы?

– Нет, никогда. Это просто игра, из которой при желании всегда можно выйти. Я это прекрасно осознаю.

– Хорошо. Вот видите. Мы всё же не монстры. – Марго усмехнулась и встала с кресла. – Пора мне, пожалуй. В понедельник ты вернешься ко мне, Ник. Я тебя жду.

* * *

Марго подарила нам на память несколько девайсов: пару плетей разной длины и назначения, наручники, кляп. Не могу сказать, что я сам хотел бы испытывать боль, но ощущения во время порки раба оказались весьма возбуждающими. Ярик, тоже не стремившийся оказаться «нижним» или рабом, тоже получил от произошедшего кайф, и потом мы еще пару раз воспользовались ее великодушием и от души поистязали Ника. Так что слова Марго упали на благодатную почву, как первая капля воды в перезвонном разливе весенней капли, за которой слышится вторая, третья и так далее... А потом это превращается в целую симфонию, и ты начинаешь чувствовать богатство и красоту мелодии... Но далеко мы не заходили, БДСМ не стал постоянным увлечением. Так... эксперимент, и всё. Вспоминаю прочитанную где-то вроде бы финскую пословицу «Пока кот спит, мышь танцует». Так вот мы и танцевали, как те самые мыши, но не дай бог разбудить кота, тут начнутся уже иные танцы... Хотя... хотя... как оказалось, именно кота-то мы и разбудили...

* * *

Потом Ярик резко пропал. Гораздо позже я случайно узнал, что он два года сидел в тюрьме за распространение наркотиков. К тому времени я уже понимал, что ВИЧ-инфицирован. Не знал только, от кого и откуда. Слишком много было возможностей. Сейчас-то я знаю, что от него. И хотя больно и обидно от этого предательства, оттого, что он смог так поступить со мной, я все равно ему благодарен. Не подумай, Ким, что я «подставляю другую щеку», этого нет и в помине.

Кастор и Поллукс

*Милый, имя тебе легион,
Ты одержим, поэтому я не беру телефон,
Соблюдаю постельный режим,
Но – в зеркале ты,
Из крана твой смех,
Ты не можешь меня отпустить,
А я не могу вас всех...*

«Легион», группа «Флер»

После Ярика со мной случилось нечто странное, совершенно вылезающее и выбивающееся из всех возможных рамок и стандартов. Я даже не знаю, как тебе об этом рассказать, потому что до сих пор воспоминания о нем раздирают мою полинялую в страстях душу на части, рвут по живому, словно пыточные инструменты в мрачных казематах Средневековья.

Однажды осенью я тупо сидел вечером в парке на лавочке, кормил суетливых и жадных вечно голодных голубей булкой и пил пиво. Погода была неровная: то солнце, то дождь, да и сейчас сквозь лилово-серые тучи, подсвеченные закатными лучами, проглядывало ослепительно-синее небо. Вдали раздавались голоса детей, играющих в свои простенькие игры, подростков, рассекающих на скейтах, и мамаш, выгуливающих в колясках драгоценных чад, но в выбранном мною закутке царил безлюдье. Над одним из последних в этом году вызывающе желтых цветков настойчиво вился непонятно откуда взявшийся крупный и красивый махаон.

Вдруг словно из ниоткуда появившийся перед моим лицом молодой человек показал жестом на скамейку и спросил:

- Я вам не помешаю?
- Садись.
- Вы что здесь делаете?
- Туплю.
- Оригинальный ответ.

Я посмотрел на него. Длинные льняные кудри до плеч, борода, скрывающая, скорее всего, безвольный подбородок и чувственные пухлые губы, белесовато-рыжие ресницы, кроткие и доброжелательные серые глаза. Весь его облик гармонировал со свободного покроя блузой песочного оттенка и вельветовыми брюками цвета палой листвы, подчеркнуто небрежно обтекающими его стройную, если не сказать художавую фигуру (исключая современную одежду) – ну вылитый Андрей Болконский. Через плечо был перекинут фотоаппарат явно крутой марки, профессиональный, хотя я в них и не разбираюсь, но на глаз и так видно, что эта вещица стоила немало. Он перехватил мой взгляд и с готовностью пояснил:

- Снимаю тут. Природа, красота.
- Для души или работа?
- И то и другое. Я Саша.
- Андрей.
- Очень приятно.
- Хочешь выпить?
- Не откажусь.

Я протянул ему бутылку с «Paulaner».

- Ты похож на художника. Рисуешь?
- Иногда случается. Хочешь посмотреть? У меня тут неподалеку мастерская.

– Почему бы и нет. Давай. Никогда не бывал еще в мастерской художника. Прикольно.
– Тогда пошли. У меня сегодня какое-то меланхолическое настроение, наверное оттого, что осень. Давай по дороге возьмем еще пива, а потом я покажу тебе картины, и поболтаем.

* * *

Мы шли по парку, загребая и подбрасывая вверх мысками ботинок палые листья. Солнце садилось, освещая макушки деревьев и придавая им легкое нимбовое сияние, похожее на ауру. Интересно, есть ли аура у деревьев? Мне было хорошо и спокойно, присутствие Саши рядом ощущалось как нечто естественное и привычное, постоянное, как рука, или нога, или волосы на голове. Он меня не раздражал, скорее даже вызывал интерес.

* * *

В мастерской, состоящей из одной-единственной комнаты и кухни, все было заставлено картинами, повернутыми к стене лицевой стороной, за исключением тех, что висели на стенах. На скособоженном трехногом столике громоздились банки с кистями, отмочающими в скипидаре, рядом валялись мастихины, скребки, бутылочки с льняным маслом и куча всяких других художественных инструментов и скляночек разных цветов и размеров, а также тряпки, тряпочки, газеты, простыни, покрывала, в творческом беспорядке покрывающие практически все пространство квартиры за исключением кухни. У окна стоял старый мольберт, также закрытый некогда белой ситцевой тряпкой в трогательный красный горошек. В углу примостился раскладной диван и прильнувшая к нему сбоку сложенная раскладушка.

- Извини, тут всегда беспорядок, – улыбнулся Саша.
- Нормально. Ты хозяин.
- Хочешь чай, кофе – или еще пивка?
- Лучше пивка.
- Сейчас сооружу бутерброды. Можешь пока оглядеться. Располагайся.

* * *

И Саша ушел на кухню. Его работы – картины маслом и акварельные наброски – производили впечатление прозрачной и наивной доброты, некоей слиянности с природой, незамысловатой, без выкрутасов и стремления к подражательности, и именно этим привлекали внимание и располагали к себе. Виды Коломенского и Архангельского, Царицыно, улочки Китай-города, старые обшарпанные буро-красные стены домов и заводов на Курской, мосты Питера, плачущие под дождем... все было настолько безыскусным и естественным, что хотелось рассматривать эти картины снова и снова. Я повернулся. В проеме комнаты стоял Саша и смотрел на меня.

– Мне нравится. Я, конечно, не знаток, но это настоящее, близкое, такое, что хочешь видеть каждый день на своей стене, когда просыпаешься и засыпаешь. Это успокаивает. Мне бы никогда не надоело смотреть на такую картину.

- Ты можешь выбрать любую, какая понравится, Андрей. Дарю.
- Ты уверен?
- Мне будет приятно. Выбери.
- О'кей. Тогда попозже. Хочу еще посмотреть.
- Смотри. Кстати, для друзей я Шурочка.
- Тебе это подходит. Саша – не твое имя. Кто ты по гороскопу?

- Близнец.
- Я тоже.
- Ты увлекаешься астрологией?
- Не особо.

– Знаешь, кроме астрологического знака, есть еще созвездие Близнецов, главные звезды которого близнецы Кастор и Поллукс. По преданию, Поллукс, сын отца богов Зевса, был наделен вечной жизнью, отцом же Кастора считался человек, и поэтому его причислили к смертным. Братья прослыли великими героями и никогда не расставались. Когда Кастор погиб, его брат Поллукс был безутешен. Его печалило то, что Кастор должен отправиться в подземное царство мертвых. И Поллукс попросил своего отца сделать и его смертным, чтобы он мог последовать за своим братом. Зевс был так тронут любовью Поллукса к брату, что предложил ему вместе с Кастором проводить поочередно день в царстве мертвых, а день на Олимпе. Поллукс воспользовался этой возможностью никогда не расставаться с братом. Позже Зевс в награду за верность превратил братьев в звезды.

– Красивая легенда. Правда, не уверен, что лучшая награда за верность стать звездой. Зевс мог бы даровать обоим бессмертие и поселить на Олимпе.

- Но тогда не было бы созвездия Близнецов...

* * *

За окном раздались густые переливы колоколов расположенной неподалеку церквушки. В комнату, к окнам которой так близко подступали стены соседних домов, вместе со звоном вползали плотные сумерки, просачиваясь сквозь наполовину сдвинутые занавески. Внезапно по карнизу и по тротуару захлестал ливень, обрушившийся водопадом на отходящий ко сну город.

– Если никуда не спешишь и тебя никто не ждет, можешь остаться здесь на ночь. Путешествовать по такой погоде без нужды не слишком привлекательно.

– Спасибо. С удовольствием. Меня никто не ждет. Не боишься оставлять у себя случайных знакомых?

– У меня нечего красть, сам видишь. К тому же, мне кажется, я вижу людей. От тебя не исходит зла, – ответил он и доверчиво протянул навстречу раскрытые ладони, словно впуская в свою жизнь.

- А если ты ошибаешься?
- Посмотрим. Я редко ошибаюсь.

* * *

Так начались наши отношения с Шурочкой. Он оказался удивительно простодушен и жил, не думая о завтрашнем дне. Зарабатывал достаточно прилично на своих фотографиях, отдавая их в глянцевые журналы, участвовал в различных фотовыставках, а на полученные гонорары покупал кисти, краски и холсты. Я знаю, что ты хочешь спросить меня, Ким. Мы с ним не занимались сексом. Мы просто спали в одной кровати, прижавшись друг к другу. Мы были совсем как Кастор и Поллукс, как близнецы-братья. Вступать с ним в сексуальную связь казалось сродни чудовищному инцесту, настолько сверхпорочному и отвратительному, что казалось невыносимым. Я ощущал его некоей потерянной когда-то частью себя, моим вторым «я». Нам не нужны были слова, мы могли молчать вместе, занимаясь каждый своим делом, и просто знать, что любимый человек рядом и согревает тебя одним своим существованием на планете, в городе, квартире... Это было нереально – знать, что глубоко вымечтанный чело-

век есть тут, рядом с тобой, и что он слишком хорош для тебя, порочного, неполноценного, ущербного...

В одном из романов Макса Фрая я прочитал, что наш мир напоминает «Мир Паука», и понял, что это действительно так, потому что множество энергетических нитей ведут от одного человека к другому, и, несмотря на прекратившиеся отношения, эти нити работают как разветвленная кровеносная система, как ротовое отверстие пиявки, высасывающей энергию, жизненную силу, и постепенно ты все теряешь силы, меньше хочешь жить, любить, радоваться свету и солнцу. У меня началась своеобразная арахнофобия, омерзительные видения толстого жирного паука, высасывающего прекрасную бабочку, уже даже не сопротивляющуюся в коконе паутины, вставляли перед моими глазами, и я понимал, что все, хватит, я больше не хочу поисков и экспериментов. Никогда. Есть самый дорогой на свете человек, Шурочка, и я сделаю все, чтобы он был счастлив, насколько это в моих силах. Отношения – это компромисс, умение прислушаться к другому человеку, понять его, объяснить себя, свои желания, отношение к миру, причины поступков. Молчать и дуться, решив, что все понятно и так и «Он должен осознавать, как неправ...» – ну просто детский сад какой-то – никто никому ничего не должен. Объясняй, проси объяснить, прощай, проси простить, разговаривай, только не уходи в тупик молчания и обид, нелепого и идиотского самолюбия.

Шурочка таскал меня на различные выставки, знакомил со своими друзьями, рассказывал различные истории о художниках и писателях, посвящал в таинственный мир искусства, читал мне по вечерам вслух восточные философские притчи, до которых был большой охотник. Благодаря ему я посмотрел большинство известных фильмов. Я никогда не спрашивал его о том, кто у него был до меня, в прошлой жизни, а сам он не рассказывал, равно как и не спрашивал об этом меня. Только один раз упомянул вскользь в разговоре, что раньше жил вместе с братом Михаилом, тоже художником, но потом они разменяли родительскую квартиру, потому что тот страшно ревновал его к творчеству и постоянно делал пакости: рвал картины, не подзывал к телефону, не пускал в дом друзей, в то время как сам постоянно водил баб и устраивал пьяные оргии, выбегая голым в подъезд и шокируя соседей своей вызывающе стоячей елдой... Не знаю, ревновал ли Миша Шурочку к его истинному таланту художника, или это были глубинные сексуальные проблемы, стремление на подсознательном уровне к инцесту, или просто некий шизоидный тип личности, сбой в генах, приведший к эпатажному и вандальному поведению... Я боялся ранить друга расспросами и не хотел вытаскивать на свет божий скелеты из его семейного шкафа. О сексе мы с ним не говорили, разве что отвлеченно, когда спорили о фильме или прочитанном романе. Он ужасно расстроился, когда узнал, что я наркоман, и просил бросить. Я сказал – нет, не хочу, мне и так хорошо. В то время я еще не знал, что болен ВИЧ, и наши платонические отношения не зависели именно от этого. Как-то раз Шурочка попросил меня дать попробовать наркотики и ему, но я наотрез отказался. Он был настолько нежен и хрупок, как херувим (не смейся, Ким, это правда), и я помнил свою вину перед Стефаном за то, что посадил его на герыч.

Я вспоминаю разные квартиры, в которых мне доводилось жить, проводить время, временно появляться, перекантовываться, просыпаться с похмелья... но ни в одной из них я не чувствовал себя так уютно и так на месте, на своем месте, как в мастерской Шурочки. Я улыбался соседям, мыл окна, чистил плитку от копоти и нагара, прибивал гвозди для картин, слушал, как по ночам резко и басовито поют водопроводные трубы или длинно и безответно звонит в квартире наверху телефон, как переставляют мебель, жалобно и протестующе цепляющуюся ножками за паркет и оставляющую на нем царапины... Я распахивал окна и вдыхал морозный утренний запах свежести и нового дня, дарующий нежный румянец щек и заряд бодрости, варил черный кофе, добавляя соль и перец на кончике ножа в турку, чтобы потом, разлив его в миниатюрные чашечки, принести на подносе в комнату и этим ароматом разбудить сонного Шурочку, улыбавшегося мне радостно и открыто, как улыбаются маленькие дети при

виде матери... Я любил скрип половиц под его ногами, шорох ключа в замочной скважине, дым его сигареты, дотлевающей в пепельнице, небрежно брошенные на кресле шерстяные носки... Это как песня птицы, парящей в воздухе, как ощущение безграничной свободы и любви, и, пока она есть, ты знаешь, что живешь, потому что вдыхаешь ее полной грудью. Мы понимали друг друга с полуслова, читали по глазам, губам, жестам все, что происходило между нами, все, что не надо объяснять словами, чтобы знать...

* * *

Мы жили вместе девять месяцев, столько, сколько нужно женщине, чтобы родить ребенка. А потом я узнал, что ВИЧ-инфицирован. Тогда я нажрался как свинья, приехал к Шурочке и в истерике вывалил перед ним все от и до, включая рассказ о Стефане и Ярике. Трое суток Шурочка не отходил от меня ни на минуту, убаюкивая на руках, как ребенка, вытирая мои слезы, целуя мои щеки, губы, руки, все мое тело. Я пил не просыхая и плакал-плакал-плакал... Именно тогда единственный раз за все время мы занимались любовью. Именно любовью, я почувствовал разницу. Он не дал мне надеть презерватив, а я по глупости и слабости согласился и даже был ему за это благодарен. Это как высшая форма верности и любви, кружащая голову, обволакивающая тебя доселе не ощущаемыми, еще не познанными чувствами. Я никого так никогда не любил на свете, как его, и никого уже не полюблю. Прости, Ким.

На четвертый день он вышел на улицу купить сигарет, коньяка и какой-нибудь еды. Я ждал его долго, несколько невыносимых часов или целые сутки – не помню... Потом бросился искать, бродил по улицам, останавливал прохожих с одним вопросом: не видели ли где высокого красивого парня с льняными волосами. Все только отрицательно качали головой. Только один из дурацких рекламщиков, называемых в народе «бутербродами», носящих на себе рекламы салонов-парикмахерских и прочей лабуды, сказал мне, что вроде недавно какого-то парня сбила машина и его увезла «Скорая». Я бросился обзванивать больницы. По приметам мне сообщили, что похожий парень есть, и пригласили на опознание в морг Боткинской больницы.

Это был Шурочка. Когда я увидел его спокойное, ничуть не обезображенное ни травмой, ни смертью, разглаженное и умиротворенное, но такое чужое теперь лицо, то упал в обморок и пришел в себя только от резкого запаха нашатыря. «Травмы, несовместимые с жизнью...» – что это такое? Он еще так молод, прекрасен... Он просто устал нести на себе этот груз вселенской доброты и скорби, тот груз, который еще и я влил в него, взвалил на его хрупкие плечи. Он задумался, ушел в себя и... Мой Кастор ушел, а я не знал, как последовать за ним: не мог решиться на самоубийство, а просто хотел лечь и умереть, но мне надо было найти его брата Мишу и похоронить любимого по-человечески... Пришлось взять себя в руки, чтобы сделать для него то, что в моих силах. Перед его гробом я поклялся, что брошу наркотики и попытаюсь облегчить участь подобных мне бедолаг, ВИЧ-инфицированных людей, которым не к кому пойти и некому излить душу.

* * *

Я целовал его ледяные замороженные губы, восковую кожу лба, смотрел на сомкнутые навсегда веки и немного слипшиеся рыжие ресницы, на бледные, сложенные на груди прозрачные неподвижные руки, которые совсем недавно обнимали меня и успокаивали, и было так чудовищно и одиноко знать, что больше ничего нельзя исправить, что он никогда не услышит тебя, а ты, в свою очередь, не сможешь вымолвить слова любви, доказать, что ты тут не просто так, а потому, что готов отдать все на свете, чтобы перемотать пленку назад и изменить этот сегодняшний миг, чтобы ЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО. Готов позволить отрубить тебе все

конечности и быть безвольным куском мяса, отрезать язык, чтобы только видеть или чувствовать по запаху, что он жив, или просто знать – это уже было бы достаточным счастьем. Но НЕТ. Его больше НЕТ, и никакое чудо не вернет Шурочку обратно. Даже если продать душу дьяволу. Потому что дьявола нет, равно как и бога. Есть ты один. И это хуже всего. Его родственники и брат брезгливо смотрели на мое прощание с Шурочкой, но молчали. «Народ безмолвствовал». И хорошо. Я бы не выдержал каких-либо комментариев, вспылел, а кощунствовать перед гробом отвратительно. Брат его в траурном черном костюме, идеально отглаженном, совершенно не выглядел скорбящим, скорее – деловитым. Ни покрасневших заплаканных глаз, ни нервно сжатых в кулаки пальцев не было и в помине. Его губы шевелились, но, как мне ощущалось, – не в молитвах, а в просчетах стоимости похорон и в сомнениях о том, что лучше: сдать квартиру или просто ее продать, а деньги вложить куда-нибудь еще (например, в акции). Они даже внешне не были похожи, скорее брат выглядел как некий шарж на Шурочку, неудачно слепленный природой: такой же светловолосый и сероглазый, но несколько скособоченный, с приплюснутыми чертами и грубо очерченной линией подбородка, да еще раздавшийся вширь. Не верилось, что он умеет рисовать. Этот неудавшийся клон просто не может жить творческой жизнью, думать о высоком, чувствовать вдохновение... Говорят, что Москва слезам не верит, так и я не верил их скорби, как и они – моей. Я не нуждался в утешении, потому что не мог его обрести.

Никаким образом. Нигде.

Предвижу, что когда-нибудь приду к Шурочке и он встретит меня у порога и возьмет за руку, и я смогу спокойно посмотреть в его глаза, зная, что не провел остатки своей жизни даром. Я все время оглядываюсь на него, спрашиваю совета, как поступить в той или иной ситуации, и мне чудится – получаю ответ.

На память о Шурочке у меня осталось несколько его картин и набросков, которые «любезно» – сквозь зубы – разрешил взять Миша. Чувствовалось, что он не особо интересовался его творчеством и не верил в то, что это можно продать, – скорее всего, его работы просто оказались бы на помойке. Гораздо больше его интересовала квартира брата. После Сашиних похорон я с ним виделся только один раз – когда забирал картины, укутав их в старое любимое Шурочкино покрывало, как в плащаницу...

* * *

Потом я опять ринулся в клубы, чтобы в дурмане громкого веселья и музыки, похоти и алкоголя унять чудовищную боль, а может, просто понять, насколько я жив или мертв. Мне нужно было побыть одному, среди абсолютно чужих людей, а скрыться в толпе – лучший вариант на время исчезнуть. Там никто не докапывается до тебя, не пытается влезть в душу насильно, чтобы морализировать, рассуждать, успокаивать дурацкими фразами типа: «Все пройдет», «Время лечит», «Найдешь себе еще кого-нибудь» и т. д. Я резал бритвой вены и тупо смотрел на выступающие капельки крови – мне не было больно, нарочно прищемлял дверью пальцы – и ничего не чувствовал, съездил и искупался в проруби – не ощутил холода, не простудился, не умер... Я напивался, приходил под окна нашей бывшей квартиры и часами смотрел на чужие силуэты, мелькающие в третьем слева квадрате света на шестом этаже. От соседей я знал, что Миша сдал квартиру многодетным абхазцам и там теперь существовал целый муравейник черненьких плохо помытых существ. Соседи неодобрительно качали головой и жаловались, что боятся по ночам спать – закутанные в черную ткань с головы до пят женщины с младенцами на руках, мелькающие будто тени, походили на смертниц-шахидок. Я понимал, что мне нечего тут делать, но меня все равно тянуло как магнитом под наши окна – иногда я и не замечал, что ноги сами приносили меня туда на автопилоте.

* * *

Один раз Саша приснился мне, укоризненно посмотрел и сказал:

– Что ты делаешь, Андрей, так нельзя! Ты мучаешь меня, не даешь покоя, пока творишь с собой такие вещи. Помнишь, что ты обещал мне и самому себе?

– Мне плохо без тебя...

– Знаю... но так нельзя.

– Помоги мне!

– Для этого я и пришел. Брось наркотики, иди и помогай людям, как и хотел.

– Где взять силы? Я опустошен и одинок без тебя.

– Ты любишь меня?

– Спрашиваешь!

– Я растворен в этом мире и всегда с тобой, в шепоте листьев, в мурлыканье прилудного кота, в улыбке младенца... во всем... Собери свою любовь ко мне – это твоя сила, и иди... ты знаешь, что делать.

– Постой! Мне так много нужно тебе сказать!

– Я знаю, я все знаю, Андрей. Я всегда с тобой. Помни об этом.

* * *

Проснувшись, я ощутил прилив сил и желание действовать. Спустил остатки наркотиков в унитаз, удалил ненужные телефоны из мобильного, вычистил свою комнату и даже вынес без обычного раздражения утренний мамин монолог – после смерти Шурочки мне пришлось вернуться жить к ней, на отдельное жилье финансов не хватало. Я вынес дикие ломки, отказываясь от наркотиков, но я готов был вынести еще больше... ты понимаешь, Ким, что тебе об этом рассказывать...

Я вспоминаю фильм «Небо над Берлином» Вима Вендерса – притчу о двух ангелах, обреченных на бессмертие и живущих среди не очень счастливых людей в разделенном угрюмой стеной Берлине – демаркационной линией, рассекающей один город на составные части: добро и зло. Правда, для каждого эти понятия свои. Что из них ближе к богу?.. Бесплотность ангелов не позволяла им вмешиваться в людские дела. Они просто безмолвные наблюдатели множественных трагедий. Но внезапно один из ангелов, Дамиэль, влюбился в воздушную гимнастку, пожелал стать смертным и стал им. И обрел счастье. Думаю, что и Шурочка стал таким же ангелом, но, увы, сказка это сказка, и обрести его заново, заглядывая в глаза и лица людей, невозможно, хотя я хожу по улицам и иногда вздрагиваю, когда вижу похожую на его фигуру или длинные светлые волосы. Я бегу, уже зная, что обманываюсь, с единственным желанием посмотреть: а вдруг на один немыслимый миг все перевернулось и он вернулся ко мне? И вижу чужие лица, опять чужие отстраненные ненужные лица в толпе улиц, метро, переходов и подворотен. Мы разделены демаркационной линией жизни и смерти, линией, через которую есть только проход в одну сторону, а обратного пути нет.

* * *

После Шурочки меня долго никто не интересовал. Я с головой ушел в работу и посвящал этому все время, какое было в распоряжении. Я не хотел никого другого рядом. Не мог представить. А потом я встретил тебя, Ким, когда от скуки бродил по инету. Наша переписка в течение трех месяцев так сблизила нас, что встреча уже казалась логичной и правильной. Мы

могли бы просто стать друзьями, если бы так отчаянно не нуждались в простом человеческом участии и островке любви, который все же смогли сотворить на пепелище.

ВИП – ВИЧ

*И теперь мне точно известно,
Насколько все это всерьез,
Потому что молчание – ведь это тоже
Ответ на мой нелепый вопрос...*

«Русская рулетка», группа «Флер»

Теперь, когда я просыпаюсь, смотрю на улицу, радуюсь солнцу или грущу, оттого что вижу солнце и пронзительно ощущаю каждый миг бытия: ветер, море, волны на реке, структуру камня под подушечками пальцев, богатство вкусовых ощущений от чая на языке, аромат розы и шелковистые лепестки, прикасающиеся к щеке... Мое настоящее прекрасно, пусть и болезненное, тяжелое, трудное... я научился любить этот мир и не хочу снова стать здоровым, потому что опять стану принимать наркотики, не удержусь, ведь это хроническая болезнь, зависимость. Наркотики – как секс, как ощущение жизни. А я хочу быть здесь и сейчас. Это плата за новую реальность, и я готов платить эту цену. Это мой выбор. Мне тяжело с тобой, Ким. Моя внутренняя программа уже не может смиряться с тем, что ты сидишь на героине. И хотя я бессилен вытащить тебя, именно это бессилие и дает мне силу строить с тобой отношения, ощущать себя нужным, необходимым тебе. Я благодарен за то, что ты есть, за то, что МЫ ЕСТЬ в этом обществе как пара, за то, что мне не одиноко больше, за то, что я теперь не вынужден решать вопросы моей мамы, которую просто не могу выносить на единой территории. У нее такое биополе, что меня начинает трясти, когда я вижу ее, разговариваю с ней. Я не хочу решать ее проблемы, слушать бесконечные жалобы и терпеть попытки влезть в мою жизнь, в душу, запачкать там все нелепыми рассуждениями и штампами. Она использовала старую семейную систему: заболеть, чтобы решить проблемы, обратить мое внимание на свою персону. Я не хочу больше суетиться и изматывать свои нервы – слишком устал от попыток все изменить, как-то достучаться до ее сердца. Сестра мудро самоустранилась от нас, выйдя замуж и уехав жить в Канаду. Теперь она изредка звонит нам, пересылает с оказией жалкие подачки в виде одежды, купленной в секонд-хенде, и думает, что этого достаточно. Ее среднеуспешный муж, естественно, оберегает свой покой и уж никак не желает видеть у себя в гостях ни ВИЧ-инфицированного брата жены, ни взвинченную, лезущую во все щели ее мать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.